

ставший очевидным факт сдержанно и спокойно, характеризуя статьи о «Войне и мире»: «...у нас критик не иначе растолкует себя, как являясь рука об руку с писателем, приводящим его в восторг <...> У Вас бесконечная, непосредственная симпатия к Льву Толстому, с тех самых пор как я Вас знаю. Правда, прочтя статью Вашу в „Заре“, я первым впечатлением моим ощутил, что она *необходима* и что Вам, чтоб по возможности высказаться, иначе и нельзя было начать как с Льва Толстого, то есть *с его последнего сочинения* <...> Ясно, логично, твердо-сознанная мысль, написанная изящно до последней степени» (29, кн. 1, 16—17).<sup>25</sup> О несогласиях пока глухо, между прочим, почти в скобках: «Но кой в чем в подробностях я не согласился». Чуть-чуть позже, в письме от 6 апреля, похвала несколько поблекла. Выясняется, что критическая работа Страхова «Бедность русской литературы» ему «понравилась больше, чем статья о Толстом. Она шире будет. Но зато первая половина статьи о Толстом — ни с чем не сравнима: это идеал критической постановки. По-моему, в статье есть и ошибки, но, во 1-х, это только по-моему, а во 2-х, и ошибки такие хороши. Эта ошибка называется *излишнее увлечение*, а это всегда делу спорит, а не вредит. Но, в конце концов, я еще не читывал ничего подобного в русской критике» (там же, с. 35—36).

Немного туманно, с непременными уточнениями, оговорками, недомолвками. Вскоре Достоевский выскажется определеннее и с плохо скрытым раздражением. Возмутили Достоевского слова Страхова: «„Война и мир“ есть произведение *гениальное*, равное всему лучшему и истинно-великому, что произвела русская литература». Достоевский готов был признать Толстого первым из современных русских писателей, о чем еще в декабре 1868 года писал Страхову, не разделяя, впрочем, чрезмерных его восторгов: «Вы очень уважаете Льва Толстого, я вижу; я согласен, что тут есть и *свое*; да мало. А впрочем, он, *из всех нас*, по моему мнению, успел сказать наиболее своего и потому стоит, чтоб поговорить о нем» (28, кн. 2, 334). Но на этот раз Достоевский восстал, послав гневный реприманд Страхову: «Две строчки о Толстом, с которыми я не соглашаюсь вполне, это — когда Вы говорите, что Л. Толстой равен всему, что есть в нашей литературе великого. Это решительно невозможно». Гении, согласно концепции Достоевского, Ломоносов и Пушкин, особенно Пушкин, «явившийся с гениальным *новым словом*», но никак не Толстой, «как бы далеко и высоко ни пошел» он «в развитии уже сказанного в первый раз...» (29, кн. 1, 114).

Страхов, нисколько не оспаривая общий, незыблемый для всех почвенников авторитет Пушкина, придерживался все-таки другого мнения. Подчеркивал именно «безмерную высоту» эпопеи Толстого. С пафосом, обычно чуждым ему, он писал (и кажется, впервые так было сказано о русском романе): «Если теперь иностранцы спросят у нас о нашей литературе, то мы не скажем им в ответ, что она подает прекрасные надежды, что она заключает великолепные задатки, не станем пускаться в оговорки и приводить разные смягчающие обстоятельства, чтобы объяснить уродливость и односторонность современных наших литературных авторитетов; мы прямо укажем на „Войну и мир“, как на зрелый плод нашего литературного движения, как на произведение, перед которым мы сами преклоняемся, которое для нас дорого и важно не *за неимением лучших*, а потому, что оно принадлежит к самым великим, самым лучшим созданиям поэзии, какие мы только знаем и

<sup>25</sup> В дальнейшем особая расположенность Страхова к Толстому перерастет в поклонение и обожествление. «Страхов действительно стал чем-то вроде особого критика, уже как бы полностью Толстым поглощенного, специально при Толстом, для Толстого и о Толстом», — пишет Н. Н. Скатов, автор предисловия к собранию литературных статей критика (Страхов Н. Н. Литературная критика. М., 1984. С. 42).